



Георгий

БУРКОВ

«ПРИ ШУКШИНЕ»

ВСЕГДА БЫЛА ТЕТРАДОЧКА...»

ВСТРЕТИТЬСЯ с артистом Георгием Бурковым не так-то просто. Репетиции, спектакли во МХАТе и на Таганке, съемки, занятия со студентами в ГИТИСе. Но дело не только в уплотненном режиме жизни. Человек «литературный», Бурков меньше всего склонен к интервью, зато расположен к беседе — наторопливой, вольной, не скованной заданностью, когда легки переходы от темы к теме. Говорить с ним интересно, к тому же он из породы слушающих собеседников. Объяснение мы найдем, наверно, в его невероятной органичности, по отзыву одного режиссера, из ряда вон выходящей естественности, искренности поведения.

В разговоре чаще других звучит «шукшинская тема», для Георгия Ивановича — сокровенная. Шукшина и Буркова связывали годы дружбы в том ее высоком смысле, когда исключается любая натяжка. Они были единомышленниками. Обоих природа щедро наградила добротой, лукавством, обаянием. Как автор и исполнитель, они были созданы друг для друга, что случается не часто.

Осенью 74-го были вместе почти неразлучно. Снимались у Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину», жили на пароходе близ донской станции Клетская.

Сейчас Бурков готовит программу литературного вечера-монспекталя по произведениям Василия Макаровича Шукшина.

— И вот когда я вновь погрузился в стихию его прозы, поразила простая мысль: везде, в каждой вещи, каким-то чудесным образом зашифрован его характер. Даже в романе «Я пришел дать вам волю». Казалось бы: Степан Разин, реальная историческая личность. А это — Шукшин. Почему ни у кого не вызвало сомнений, кто будет играть? Он — кто же еще! И до сих пор к сценарию никто не рискнет подступиться.

Поразительная способность к перевоплощению особенно проявляла у Шукшина личное, авторское. Как-то говорит: «Не буду снимать финал — казнь Степана. Не переживу». Тогда я это воспринимал как эмоциональное преувеличение. Теперь понимаю: Шукшин не пережил бы.

При нем всегда была тетрадка, он с ней не расставался, писал каждую свободную минуту. Я видел его рукописи: ни единой помарки, будто диктант писал. Только по лицу, по воспаленным глазам догадываешься, какой внутренней работы стоило ему это чистописание. Истинный художник, он проживал жизни своих персонажей, ко всему прикасался собственным сердцем. Его талант поэтичен. В каждой вещи, как на гвозде, все держится на образе лирического героя. Поэтому его нельзя читать «на голоса», как делают иные актеры.

Я долго, настойчиво упрасивал его написать пьесу для моего режиссерского дебюта в Москве — сказку об Иване-дураке. Подробно объяснял замысел, соблазнял сценическими возмож-

ностями: представлял, как три головы Горыныча — три актера — беседуют между собой. Он внимательно слушал, кивал, соглашался. «Хорошо говоришь. Вот сам возьми и напиши». — «Нет уж, это по твоей части, я не умею». — «Тогда давай пофантазируем».

Работали мы тогда много, снимались с утра до ночи. Мне показалось, что он остыл к нашей затее. Но однажды утром за завтраком он говорит: «Беда, знаешь, с нашим героем приключилась: его из библиотеки выгнали. Справку ему надо достать». Вечером он уже читал готовую сцену. Все чин чин — написано в тетрадке. Только почему радости я не испытывал: уж очень далеко уходил от задуманного, появилась бытовая конкретность.

— Насколько я понимаю, речь шла о повести «До третьих петухов»?

— О ней. О том, как сказочный, афанасьевский Иванушка превращался в живой, сложный, сегодняшней образ, в котором настойчиво проявлялся автор. Вроде и не подкопался, не схватил за руку — Иванушка, родимый. Но вот он является в нашу жизнь, прежде ничего о ней не ведавший, встречается с другими литературными персонажами, Бабой-Ягой, Змеем-Горынычем, — эти хорошо обжились в наших обстоятельствах. Внешне ведет себя, как надлежит Иванушке. — дурак дураком. Но в нравственных оценках убийственно точен, воспринимает современность безошибочно.

До сих пор не могу понять, как Шукшину удалось преодолеть сказочную форму и выйти в совершенно иное художественное измерение — в лирическую поэму. Я называю изобретенный им метод «остранением по-русски»: превращение сказки в нечто трагедию.

— Его тянуло к притче, к образ-символу — через смешное, комичное.

— Есть действительно очень потешные сцены, диалоги. Но комизм их обманчив. Вообще, когда пытаешься Шукшиным рассмеить, становится не по себе. Вроде бы смешно — а эффект обратный.

— Видимо, смех высекается из столкновения «странного» характера с обычной бытовой ситуацией.

— Высекается-то как раз не смех. Во всех его философских трагических притчах на дне остается горечь, осадок.

— Тем не менее актеры нередко числят Шукшина в юмористах. Исполняя с эстрады, намеренно «вылизывают» смешное, порою в ущерб смыслу, глубине.

— Сбивают с толку шукшинские чудики — непредсказуемостью своих реакций. Встречаясь с ними, испытываешь душевный неуют, дискомфорт. Поэтому давайте-ка лучше задвинем их подальше...

— ...чтоб не мешали жить, как живем...

— ...устроим загон для них — и с высоты нашей «нормальности» вволю посмеемся над ними... А ведь эти наивняки куда праведнее!

— В свое время и критика не разобралась в жанровых особенностях фильмов «Живет такой парень», «Печки-лавочки». Почему-то они проходили по разряду комедий.

— Его это огорчало. Какие же комедии? В них заявлен особый тип героя, в котором перемешалось все — и доброе, и худое. Как в жизни.

— Смех Шукшина традиционен. Он восходит к образцам — к Гоголю, Чехову. Для них комическое — главное средство создания трагического.

— Да, Шукшин принадлежит именно этому пласту нашей культуры. Его трагизм — глубоко русский, лишенный кровопролитных шекспировских страстей с «летальными» исходами. Как и великих предшественников, его всю жизнь преследовали одни и те же образы, только менявшие облик.

Однажды поздно вечером разговор зашел о «герое нашего времени». Кто они — Печорин, Онегин, Чичиков, Обломов? Каждый из них — порождение современной им жизни. Не обязательно положительный, но прекрасный в своей правдивости тип. «Кажется, я тоже созрел написать такого человека». «Какого?» — не понял я. — «Демагога». Я разочарованно хмыкнул: мол, было, опять же фельетонный антигерой. «А вот не угадал. Хочу написать про то, как демагогия вошла в человеческие чувства». Оказалось, замысел полон подробностей, прорисовывается любопытный тип наших дней. «Кто такой Зилов у Вампилова? Демагог чувств. Грозится покончить с собой — и остается жить. Да еще упрекает... Страшный человек: все может повернуть, как захочет — так и эдак».

Иногда, выбираясь в станицу, мы устраивали настоящие набег на книжные магазины. Рылись на полках, в подсобке, хватили все подряд: старые газеты, журналы, особенно русскую классику — недорогие школьные издания, тоненькие книжицы, в ту пору их было много. Он откладывал книги не глядя; складывал их в стопу, листал сразу несколько. При этом ревниво поглядывал на меня: не обогнал ли его в азарте? Если видел, что у меня меньше, глаза вспыскивали победно: дескать, мой угол лучше, жила более золотиносная. «Дома», на пароходе, происходил нервный обмен. Прежде чем расстаться с книгой, долго вертел в руках, комментировал, пересказывал так, будто сам только что сочинил. Листая как-то «Шинель», говорит: «Слышал? Говорят, Башмачкин жив». Вдруг стал раздраженным, зло захопнул книгу и ушел к себе. «Там уже все написано, а я время теряю».

Поэтому, верно, не выносил пустых разговоров. Когда «почитатели таланта» приставали с расспросами, злился, замыкался. Приходилось брать непрошеного интервьюера на себя — служить громоотводом. Он не вступал, хотя слушал. После ухода подводил итог беседы.

Он был изнутри, глубоко образованным человеком, по-настоящему знал литературу, исто-

рию. Но знание его было «с секретом» — не на поверхности. Никогда не употреблял модной искусствоведческой терминологии — стеснялся слов и всегда находил простой эквивалент.

— Таково свойство истинного интелли...

— ...гента? Такого тоже никогда от него не слышал. Он говорил иначе: сочувливый человек. «Чувствую, что к моим словам привыкли — не задевают за живое. Слова нужно разогревать». Позднее вычитал в его публицистике: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в кострел!» Такими разогревками, разрывными словами написана «Кляуза».

Он удивительно читал вслух, мгновенно воспламеняясь от собственного показа. Слушал себя, как бы проверяя точность воспроизведения мысли.

— «Каждый пишет, как он слышит»...

— О нет, далеко не каждый. Шукшин в мыслях и словах был раскован и почти стенографически переносил эту раскованность на бумагу. Он обладал абсолютным слухом. Под каждой фразой видится ее нотная запись. Мирощущением, поэтикой он близок Николаю Рубцову. Когда нужно было по ходу сцены, он пел, и тоже очень по-своему, переходил из одного голоса в другой, на глазах создавая музыкальную партитуру вещи. Он органично стремился к завершенности формы — в коротком ли эпизоде или рассказе.

После выхода «Калины красной» у многих, даже самых искушенных зрителей создалось впечатление, что в ней Шукшин рассказал о себе. По сей день меня спрашивают: правда ли, что Шукшин сидел и сколько? Не допускают мысли, что в тюрьме сидел не он, а какой-то Егор Прокудин. Актер заставил почувствовать, сколь дорогой ценой оплачено каждое слово. Он как бы срззу берет на себя персонаж, его судьбу со всеми изломами и перепадами, с нажитым опытом, тяготами, терзаниями, надеждами, душевной неустойчивостью, берет на себя всю ответственность за него. Как же не верить!

— «Калина...», как мне кажется, спровоцировала интерес к нему как к писателю... Притом не во всем оправданный.

— Слава его пошла действительно не от книг. Широко читать его стали после смерти.

— Сам-то он кем себя считал — писателем или кинематографистом?

— Едва ли он задумывался об этом. Для него все — внутри и вокруг — связано, неразделимо. Переход от одного к другому, от кино к прозе не требовал переключений, разбега, трамплина. Тем не менее переживал раздвоенность. Раздражало, что масса времени уходит на студийную суету, на постоянные компромиссы, с которыми сопряжено кинопроизводство. Мечтал о покое и тихой работе. Состоявшийся писатель, он грезил о литературе как о чем-то несбыточном.

— И театром: ведь и эта стихия не миновала его?

— С театром отношения были сложные. Сначала он находился под обаянием своего учителя, Михаила Ильича Ромма, который с присущим ему темпераментом предсказывал театру близкую кончину от одиночества. И так убедительно, что, казалось, не сегодня-завтра появится некролог. Постепенно отношение изменилось — говорил о театре как о живом деле. Особенно после того, как побывал у Товстоногова на репетициях «Энергичных людей», записал свой голос «от автора» и остался доволен результатом.

Работая над повестью «До третьих петухов», он часто просил меня почитать. Там есть персонаж — медведь, против которого я возражал: казалось, он не отсюда, не из притчи. Шукшин сердился, пытался убедить. «Как ты не понимаешь: Медведь — это природа, естество... Пожалуй, я тебе Медведя подыграю». Я видел, как увлеченно, с удовольствием он играет. Вот почему не верю, что смог бы расстаться с театром, кино навсегда. Хотя литература оставалась для него самой желанной. Остальное — периферия, удаление от центра, где можно дорезать себя, довыразить, довысказать.

Жил в диком напряжении, будто все время куда-то торопился. Непрерывно пил кофе, курил, к концу работы сильно уставал и буквально на глазах снижал. Писал по ночам, при закрытых окнах, чтоб мошка не налетала.

Как-то выдалось несколько свободных дней, и мы отправились в Москву. Обратно договорились возвращаться вместе. Успели встретиться у магазина «Журналист», что на проспекте Мира. В назначенный час прихожу — он уже на месте. Стоит возле машины, курит и плачет. «Ты чего, — спрашиваю, — страшно что?» — «Да так, девок жалко, боюсь за них». — «А что с ними случится?» — «Не знаю. Пришли вот провожать. Стоят, как два штыка, уходить не хотят. Попрошались уже, я их поноу, а они стоят, не уходят». По его лицу текли слезы. Будто знал, что в последний раз видит дочерей Машу и Ольгу.

Все чаще жаловался на ноги. Я видел, как ему трудно ходить, как тяжело дается даже небольшое расстояние — от пристани на Дону до площадки.

В последний вечер выглядел усталым, вялым, все не хотел уходить из моей каюты — жаждал выговориться. Вдруг замолчал надолго. Будто вслушивался в еще не высказанные слова. Или принимался читать куски из повести «А поутру они проснулись» — как раз завершал работу над ней, вот только финал никак не выходил, что-то стопорило. Помните, повесть «Брызгается на суде». «Я хочу сделать так. Во время чтения приговора в зал входит молодая, опрятно одетая — «нездешняя» — женщина и просит разрешить присутствовать. Судья, тоже женщина, спрашивает: «А кто вы ему будете? Родственница? Знакомая? Представитель жэка?» «Нет», — говорит женщина. «Кто же?» — «Я — Совесть». Общее